— Ты чей?

НИЧЕЙ



СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

18+

КАЗАНЬ · 1979

Максим Неустроев

Ничей

«Автор»
2026

Неустроев М. А.

Ничей / М. А. Неустроев — «Автор», 2026

Казань, ноябрь 1979-го. Мокрый снег, запах креозота, из окон доносится «Место встречи изменить нельзя». Но за фасадами давно прячутся асфальты, улицы, где каждый обязан кому-то принадлежать.Пятнадцатилетний Максим Белозёров приехал сюда из Вологды. Тихий мальчик с ровными четвёрками, которого забывают через минуту. Он считает всё: выходы, руки в карманах, секунды до первого удара. Он умеет смотреть так, что собеседник начинает говорить лишнее.Но в этом городе быстро задают главный вопрос: — Ты чей?Вокруг школы 117 стоят три асфальта: Кирпичка, Депо и Чайка. У каждого свои законы, своя касса, свои сборы и свои жертвы. Над ними капитан милиции, который торгует порядком. Рядом человек в сером пальто, чей взгляд задерживается на Максе дольше, чем следует. В школе очкарик Женя, которого обувают каждую неделю, и Лиля, которая замечает то, чего Максу хотелось бы не замечать.Ответ у Макса один: «Ничей». Это и вызов, и приговор.

© Неустроев М. А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

АКТ ПЕРВЫЙ. АСФАЛЬТ 7
Глава 1. Смотри и считай 7
Конец ознакомительного фрагмента. 18

Максим Неустроев
Ничей

РОМАН
НИЧЕЙ

Казань · 1979–1980
2026

АННОТАЦИЯ

Казань, ноябрь 1979-го. Мокрый снег, запах креозота, из окон доносится «Место встречи изменить нельзя». Но за фасадами давно живут асфальты — улицы, где каждый обязан кому-то принадлежать.

Пятнадцатилетний Максим Белозёров приехал сюда из Вологды. Тихий мальчик с ровными четвёрками, которого забывают через минуту. Он считает всё: выходы, руки в карманах, секунды до первого удара. Он умеет смотреть так, что собеседник начинает говорить лишнее.

Но в этом городе быстро задают главный вопрос:

— Ты чей?

Вокруг школы № 117 стоят три асфальта: Кирпичка, Депо и Чайка. У каждого свои законы, своя касса, свои сборы и свои жертвы. Над ними — капитан милиции, который торгует порядком. Рядом — человек в сером пальто, чей взгляд задерживается на Максе дольше, чем следует. В школе — очкарик Женя, которого обувают каждую неделю, и Лиля, которая замечает то, чего Максу хотелось бы не замечать.

Ответ у Макса один: «Ничей». Это и вызов, и приговор. Он хочет стать для улицы неудобной константой: не врагом и не своим. Но нейтральной полосы не бывает. Её приходится проводить самому, и каждая черта стоит чьей-то цены.

«Ничей» — история о взрослении на краю закона, о цене выбора и о том, что самые опасные люди умеют считать.

СОДЕРЖАНИЕ

АКТ ПЕРВЫЙ. АСФАЛЬТ
Глава 1. Смотри и считай
Глава 2. Девятый «Б»
Глава 3. Четыре секунды
Глава 4. Карта
Глава 5. Качалка
Глава 6. Ровные четвёрки
Глава 7. Дежурная аптека
Глава 8. Слухи
АКТ ВТОРОЙ. НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА
Глава 9. Студент
Глава 10. Такташка
Глава 11. Общак
Глава 12. Оливье
Глава 13. Корона
Глава 14. Стенка
Глава 15. Партия с капитаном
Глава 16. Сестра
АКТ ТРЕТИЙ. СЛОВО

Глава 17. Шёпот
Глава 18. «Москва слезам не верит»
Глава 19. «Дядя Гена»
Глава 20. «Отец»
Глава 21. «Крыса»
Глава 22. «Пробег»
Глава 23. «Четырнадцатое апреля»
Глава 24. «Ничей»

АКТ ПЕРВЫЙ. АСФАЛЬТ

Глава 1. Смотри и считай

Суббота, 10 ноября 1979 года

Казань встретила нас мокрым снегом и запахом креозота.

Снег летел не сверху, а откуда-то сбоку, с реки, и таял, не долетая до асфальта. Креозотом тянуло от шпал — тяжело, маслянисто, по-железнодорожному. Под этим запахом лежал второй, угольный: всю ночь в вагоне топили титан, и дым въелся в пальто, в волосы, в Настин вязаный шарф. Я спал плохо. От угольного дыма я всегда сплю плохо.

Скорый «Москва — Казань» встал у перрона в семь сорок. Рассвет никак не мог решиться. Над вокзалом — тёмно-красным, кирпичным, с белой отделкой и башенками, похожим на пряничную крепость, — висело низкое небо цвета остывшей золы, а электрические часы над перроном отставали от моих на две минуты.

Проводница тётя Зина — за ночь мы успели узнать, что у неё двое внуков в Зеленодольске и больная поясница, — открыла дверь, обмахнула поручень тряпкой и подала Насте руку. На форменной тужурке у неё блестели медные пуговицы со скрещёнными молотком и гаечным ключом.

— Ну, Вологда, с приездом, — сказала она и сунула Насте в варежку два куска рафинада в бумажной обёртке. На обёртке был нарисован поезд.

Настя посмотрела на него так, будто ей подарили настоящий.

Я сошёл последним, с самым тяжёлым чемоданом, и старательно делал вид, что он тяжёлый.

На перроне я насчитал сорок два человека, четырёх милиционеров и одного карманника.

Считаю я всегда. Это не талант, а привычка — вроде того, как другие грызут ногти. Ступеньки в подъезде. Окна в доме напротив. Людей в трамвае — и сколько из них носят часы на правой руке. Сорок два человека на перроне ничего не значат. Это просто сорок два.

Четыре милиционера — уже кое-что.

Двое молоденьких сержантов смотрели на девушек из соседнего вагона. Третий разглядывал своё отражение в вагонном стекле и поправлял шапку. Четвёртый — усатый старшина в шинели, тесной ему в плечах, — смотрел на карманника.

Карманнику было лет тридцать. Серое драповое пальто, кепка, шарф и лицо, которое забываешь, пока на него смотришь. У меня такое же. Поэтому я его и заметил: трудно не узнать собственный приём.

Правая рука жила у него своей жизнью, отдельно от лица. Лицо скучало и разглядывало табло. Рука работала.

В пяти шагах от нас толстый мужчина в пыжиковой шапке и пальто с каракулевым воротником ругался с носильщиком из-за рубля. Ругаясь, он развернулся, отодвинул с дороги Настю портфелем — не грубо, а так, как отодвигают сумку, которая мешает пройти, — и даже её не заметил. Мама пересчитывала чемоданы и тоже ничего не заметила.

Я заметил.

Через тридцать секунд карманник оказался возле толстого. Толчок в плечо. «Пардон, папаша». Левая рука заботливо, по-сыновьи, придерживает под локоть, правая уходит под каракулевый отворот. Полторы секунды. Бумажник, толстый, как его хозяин, исчез в рукаве серого пальто, и рука снова стала скучной.

Тут карманник поднял глаза и увидел, что я смотрю.

Полсекунды мы смотрели друг на друга. Потом он едва заметно улыбнулся, коснулся двумя пальцами козырька кепки и растворился в толпе у подземного перехода.

Усатый старшина проводил его взглядом, отвернулся и стал закуривать. Спички у него ломались. Он сломал три, прежде чем прикурил.

Так, не сходя с перрона, я узнал о Казани первое: здесь все всё видят. Видеть — не значит вмешиваться.

Через полминуты я применил это правило сам. Толстый мужчина всё ещё торговался с носильщиком и не знал, что спорит о деньгах, которых у него больше нет. Я мог бы его окликнуть. Но пять минут назад он отодвинул мою сестру, как сумку. Я тоже решил кое-чего не заметить.

Вокруг говорили по-русски и по-татарски, вперемешку, иногда в одной фразе. Женщина в пуховом платке тащила за руку мальчишку в кроличьей шапке и повторяла: «Әйдә, улым, тизрәк!» Я не знал ни слова, но понял всё. Мать торопила сына. Матери везде торопят одинаково.

— Макс, не отставай, — сказала мама и поправила на Насте шарф.

Я не отставал. Я никогда не отставал. Я просто смотрел.

* * *

Отец нёс два чемодана и коробку из-под болгарских консервов, перевязанную бельевой верёвкой. В коробке были книги. Мебель, посуду, телевизор и всё остальное отправили контейнером, малой скоростью — недели две, сказали на станции. Книги отец малой скорости не доверил.

— Тарелки, Оля, купим, — сказал он ещё в Вологде, когда мама пыталась отговорить его от коробки. — А Стругацких тут не купишь.

Заводской «рафик» ждал на привокзальной площади, между троллейбусной остановкой и лужей размером с хороший пруд. Водитель — коренастый татарин лет пятидесяти в кожанке на цигейке — увидел нас раньше, чем мы его.

— Белозёровы? Вологодские? — крикнул он через всю площадь, хотя нас ему никто не описывал. — Сюда, абый! Сюда давай!

Потом я понял, как он нас узнал. Мы были единственной семьёй на площади, которая не знала, куда идти.

Его звали Наиль. Он закинул наши чемоданы в салон так, словно они ничего не весили, — мой тоже, — и я с облегчением перестал делать вид.

На пальцах его правой руки синели буквы: Н, А, И, Л. На мягкий знак пальцев не хватило. Кололи в юности, сами, швейной иглой и тушью: буквы плясали, «И» завалилась набок. Лет в четырнадцать. В четырнадцать человеку кажется, что имя надо записать на себе — на случай, если его забудут.

— Вологда! — Наиль выруливал с площади одной рукой, а другой разминал папиросу: смял мундштук гармошкой, дважды, крест-накрест. — Вологда — это масло, да? Вологодское масло! Хорошее масло.

— Хорошее, — согласился отец. — Только оно всё в Москву уезжает.

Наиль захохотал так, что «рафик» вильнул.

— Как у нас! Всё хорошее — в Москву! Мясо — в Москву, масло — в Москву, хоккеисты — в Москву... — Он вдруг крутанул руль. — Крюк сделаю. Гостям Кремль положено. Без Кремля Казань не считается.

Кремль стоял на холме над рекой: белые стены, башни, синие купола собора в золотых звёздах. Над стенами поднималась красная кирпичная башня — ярусами, как детская пирамидка, — и она заметно клонилась набок.

— Падающая, — гордо сказал Наиль. — Сююмбике. Как в Италии, только наша лучше. Наша не падает.

— Мам, она правда падает? — спросила Настя.

— Нет, солнышко. Стоит. Просто криво.

— Как всё у нас, — сказал отец.

— Андрей, — сказала мама.

Отец засмеялся и поднял руки: сдаюсь.

Башня кренилась к северо-востоку. Я прикинул угол по линии стены: отклонение от вертикали — метра два, может, чуть меньше. Позже, в библиотеке, я нашёл справочник: метр девяносто восемь. Я ошибся на два сантиметра и был этим недоволен.

Потом Кремль кончился, и начался город.

Сначала дамба через Казанку — серая вода и ветер, который рвал с прохожих шапки. Потом заборы. Заборы, заборы, бетонные, с колючкой поверху, а за ними корпуса и трубы. Над одной трубой висел рыжий дым, густой и пушистый, как лисий хвост. Потом заборы кончились, и пошли деревянные дома с резными наличниками. Ворота у них были выкрашены в синий и зелёный так ярко, словно хозяева спорили с ноябрём. Из печных труб поднимался дым — уже не рыжий, а сизый, домашний. Дальше начались бараки — двухэтажные, деревянные, почерневшие от времени, с бельём, которое замёрзло на верёвках в форме людей.

У колонки на углу стояли пятеро в телогрейках и ушанках. Они ничего не делали — просто стояли. Когда «рафик» поравнялся с ними, все пятеро повернули головы — одновременно, как подсолнухи за солнцем, — и проводили нас взглядом.

Наиль перестал улыбаться.

— Пацаны, — сказал он, ни к кому не обращаясь. Потом покосился на отца: — Сын у тебя большой, абый? Сколько?

— Пятнадцать.

— Ай-яй, — сказал Наиль и молчал целый квартал. — У меня у самого четырнадцать. Я его в секцию отдал, на бокс. Думал — пусть хоть сдачи даст, если что. А он теперь сам... — Он пожевал папиросу. — Бокс, говорит, папа, — это чтобы с пацанами. Вот так.

— С какими пацанами? — спросила мама.

Наиль посмотрел на неё в зеркальце, потом на Настю — и что-то для себя решил.

— Ничего. Это так. У каждой улицы свои мальчишки. Тут Кирпичка — ваш район, значит. А там, — он махнул рукой куда-то назад, за трубы, — Теплоконтроль. Слышали — Тяпляп?

— Нет, — сказал отец.

— Ну и хорошо. В газетах не пишут, а весь город знает. Их сейчас судить будут, тихо стало. — Он помолчал. — Тихо — это хуже.

Мама нашла в полутьме салона Настину варежку и сжала её.

Наиль поймал в зеркальце мой взгляд.

— Малай, — сказал он. — Слушай меня. Спросят: «Ты откуда?» — говори правду, врунов тут не любят. Спросят: «Мотаешься?» — говори: нет. А если шапку попросят — отдай. Шапка — не голова.

— Как это — отдай? — Отец даже обернулся. — А милиция?

— Милиция, абый, приедет, протокол напишет. А шапки уже нет. А если не отдал — то и головы может не быть.

Отец ничего не ответил. Мама смотрела в окно.

— Спасибо, — сказал я.

Из трёх советов два были хорошими.

* * *

Дом был девятиэтажный, из серых панелей с белыми швами. Здесь его до сих пор звали новым, хотя ему шёл восьмой год. Он стоял на краю частного сектора, как часовой: с одной

стороны — крыши, сараи и огороды под снегом, с другой — пустырь, гаражи, котельная с высокой трубой, а за ними насыпь железной дороги.

У подъезда на лавке сидели две женщины в плюшевых жакетах и пуховых платках. Одна — маленькая, круглая, с лицом как печёное яблоко — поднялась нам навстречу раньше, чем Наиль заглушил мотор.

— Новенькие? На шестой? В двадцать четвёртую? — Она не спрашивала, а проверяла. — Рәхим итегез! Галия меня зовут. Галия-апа. Напротив вас живу.

Пока мы перетаскивали вещи к лифту, Галия-апа узнала, откуда мы приехали, кем работают родители, в какую школу пойдём мы с Настей и сколько Насте лет. Мама ничего ей не рассказывала. Галия-апа спрашивала так, что ответы выходили сами.

Я записал её в самые ценные источники информации в радиусе километра. Позже выяснилось, что я её недооценил.

В лифте пахло кошками и жареным луком. Кнопки были оплавлены спичками, на «шестёрке» пластмасса вздулась пузырём. На стенке кто-то нацарапал ключом: «КИРПИЧКА», «Ленка — дура», «ДМБ-79» — и маленькую кривую корону о трёх зубцах.

— Мама, тут корона, — сказала Настя.

— Не трогай, грязно, — сказала мама.

Квартира пахла свежей краской и чужой жизнью.

Завод отремонтировал её к нашему приезду: побелили потолки, покрасили рамы, переклеили обои. Новые обои клеили поверх старых, и в углу у окна край отошёл — под крупными цветочками обнаружились мелкие. На полу остались светлые прямоугольники там, где у прежних хозяев стояли шкаф и диван. Из стены торчал гвоздь, на котором висел ковёр. Ковра не было. Гвоздь остался.

Мама первым делом пошла к батареям. Приложила ладонь к одной, к другой — так она прикладывает ладонь ко лбу Насти, когда та кашляет.

— Горячие, — сказала она с недоверием. — Андрюша, они горячие.

— Казань топит, как Ташкент, — сказал отец. — Нам тут скоро пальмы выдадут. По ордеру.

Мама засмеялась — первый раз за всю дорогу.

Я проверил входную дверь. Древесно-стружечная плита, обитая дерматином, латунные гвоздики по контуру. Один английский замок с язычком в полсантиметра. Такую дверь выбивают плечом с одного удара, а замок открывают ученической линейкой. Линейка нашлась у меня в портфеле, и я проверил, пока никто не видел. Четыре секунды.

Нужен второй замок и цепочка. Я сказал об этом отцу так, как говорят пятнадцатилетние, — между делом и с ленцой:

— Пап, а замок тут какой-то хлипкий.

— Купим второй, — сказал отец. — Всё купим, старик. Дай только оглядеться.

На косяке двери в маленькую комнату остались карандашные отметки. Их закрасили белым, но в косом свете из окна они проступали, как вдавленные строчки на следующем листе блокнота. Черта, имя, год. «Рустем, 1971». «Рустем, 1973». «Рустем, 1975». Черты ползли вверх ровной лесенкой. Последняя стояла выше моей макушки: «Рустем, VIII.78».

— Смотри! — Настя прижалась к косяку спиной. — Я как Рустем в семьдесят третьем!

Рустем в семьдесят третьем был ростом с девятилетнюю Настю. Значит, родился году в шестьдесят четвёртом, как я. В августе семьдесят восьмого ему было четырнадцать, и он был выше меня нынешнего на два пальца. После августа семьдесят восьмого его больше не мерили.

Люди переезжают, отметки на косяках остаются. Ничего необычного. Я запомнил это и пошёл дальше.

Маленькая комната досталась нам с Настей. Настя тут же заняла подоконник — широкий, тёплый от батареи, — разложила альбом и цветные карандаши и объявила, что здесь будет её мастерская.

Я встал у неё за спиной.

С шестого этажа район был виден целиком — как доска перед первым ходом.

Прямо под окнами — хоккейная коробка: дощатые борта, облупленная зелёная краска, внутри затоптанный снег, льда ещё не заливали. Справа от коробки — два ряда кирпичных гаражей под жестяными крышами, а между рядами — проход, куда не доставал свет фонаря. У въезда в гаражи стояла будка сторожа с жестяной трубой, и возле неё на цепи бегала рыжая лохматая собака. За гаражами — котельная, приземистая, кирпичная, с высокой трубой и горой угля у стены. В подвал котельной вели ступеньки, и над подвальной дверью горела лампочка в проволочной сетке. Средь бела дня. Кто-то не берёг электричество — или кому-то было нужно, чтобы у этой двери всегда было светло.

Дальше — пустырь, из-под снега торчит бурьян. Пустырь пересекала теплотрасса: толстые трубы на бетонных опорах, в рваной стекловате и рубероиде, а вдоль них по снегу тянулась чёрная проталина — тропа, по которой ходят, когда не хотят мёрзнуть. Теплотрасса упиралась в бетонный забор, за забором поднималась насыпь, а за насыпью лежала сортировка: два десятка путей, цистерны, платформы, маневровый тепловоз. Через пути был перекинут пешеходный мост. На той стороне — двухэтажные дома, водонапорная башня и клуб с облупленными колоннами.

Слева, сколько хватало глаз, тянулся частный сектор — крыши, дымы, заборы — до самой трубы кирпичного завода. Кирпичка, как сказал Наиль.

Справа, за пустырём, стояла школа — трёхэтажная, буквой «П», из белого силикатного кирпича. За школой — ещё девятиэтажки, новее и выше нашей, а между ними плоская коробка кинотеатра. Над кинотеатром тянулись буквы: «ЧА КА». Буква «Й» не горела.

Фигур я пока не знал. Но доску уже видел.

У гаражей стояли подростки. Настя рисовала их — маленькими чёрными палочками в шапках.

— Это кто? — спросил я.

— Мальчики, — сказала Настя. — Они там стоят.

— Ты нарисовала троих.

— Их трое.

— Их четверо.

Настя прижалась носом к стеклу.

— Трое! Макс, ну ты что.

— Видишь, над углом крайнего гаража пар? Как будто кто-то дышит.

Настя всмотрелась.

— Вижу.

— Пар есть, а человека нет. Значит, человек за углом. Стоит и дышит, а пар поднимается над крышей.

Настя подумала, нарисовала за углом гаража ещё одну палочку и аккуратное облачко над ней.

— Ты как Шерлок Холмс, — сказала она.

В Вологде отец читал ей про Холмса, и с тех пор Настя считала, что все загадки на свете решаются трубкой и скрипкой.

— Холмс — выдуманный, — сказал я.

— Ты тоже немножко выдуманный, — сказала Настя и стала раскрашивать облачко голубым.

Я не нашёлся, что ответить. Со мной такое бывает редко.

* * *

В три часа мама дала мне рубль и авоську.

— Батон, половинку чёрного, молоко. Посмотри масло. И спички — папа просил. Сдачу не потеряй.

— Шапку надень, — сказал отец из комнаты. — Не зря же покупали.

Шапку он купил мне в Вологде перед самым отъездом: кроличью ушанку, серую, пушистую, на размер больше — «на вырост, и чтоб уши не отморозил на чужбине». Она стоила двенадцать рублей. Потом отец неделю не курил и делал вид, что бросает. Я знал, что он не бросает. Он экономил.

Я надел шапку.

Галия-апа сидела на лавке у подъезда, будто никуда и не уходила. Может, и не уходила.

— Куда, малай?

— За хлебом, Галия-апа.

— Ай, хороший мальчик. В гастроном иди, в соседний дом, там свежий. В булочную на Заводской не ходи — там чёрствый, и там... — Она поглядела в сторону гаражей и не договорила. — В гастроном иди.

— Спасибо.

— Вежливый какой, — сказала она соседке, когда я отошёл. В её голосе вежливость звучала как диагноз.

Двор я прочитал, пока шёл до гастронома. Шесть минут, если не торопиться. Я не торопился.

У угла девятиэтажки, лицом к дороге, топтался пацан лет одиннадцати — пальто нараспашку, руки в карманах. Он ничего не делал, только смотрел на дорогу. Когда со стороны остановки показался мужчина в форменной шинели — железнодорожник или милиционер, издали не разберёшь, — пацан коротко свистнул на две ноты, и у гаражей все разом повернули головы. Мужчина оказался железнодорожником. Пацан свистнул ещё раз, одной нотой, и головы отвернулись.

Две ноты — внимание, одна — отбой. Сигнальная система, простая, как у пожарных. Кто-то её придумал и кто-то научил ей одиннадцатилетнего мальчишку.

У гаражей стояли трое — уже не палочки с Настиного рисунка, а люди. Четвёртый, как я и говорил, — за углом. Снег перед ними был усыпан шелухой от семечек: полукругом, плотно, утоптанно. Здесь стояли часто, подолгу и всегда одинаково — спиной к стене, лицом к дороге.

Окурков в шелухе не было. Ни одного.

Я видел достаточно мест, где собираются подростки. Везде, где стоят подолгу, остаются окурки, пробки, плевки. Здесь — только шелуха. Здесь не курили. Не потому, что не хотели, а потому, что нельзя.

А раз нельзя — значит, кто-то запретил. Правила всегда кто-то устанавливает.

С пятого этажа, из форточки, закричала женщина:

— Во-о-ва! Зуев! Домой, кому сказала! Вова!

Один из троих у гаражей — худой, с выпирающими передними зубами — дёрнулся, как от удара током, и посмотрел. Не на окно — на самого крупного из троих. Крупный что-то сказал, двое других засмеялись. Худой остался на месте.

Мать звала его домой, а он смотрел на крупного. Этот двор я понял за одну эту секунду.

На торцевой стене крайнего гаража белела корона. Три зубца, под ними две буквы: «КР». Белила облупились, по кирпичу протянулись рыжие потёки — рисовали давно, год назад, а то и больше. Но вокруг короны стена была чистой. Ни «Ленки-дуры», ни мата, ни сердечек со стрелами. Рядом с короной никто ничего не писал.

Гастроном занимал первый этаж соседнего дома. Налево — «Хлеб», направо — «Молоко — мясо», посередине — касса. В «Мясе» на витрине лежали кости, обрубленные так, словно

мясо с них снимали в спешке, и ценник «Суповой набор». В «Хлебе» было тепло и пахло так, что очередь из семи человек стояла с закрытыми ртами.

На полке висела на верёвочке двузубая вилка — проверять, свежий ли хлеб. Ею никто не пользовался. Все давили батоны пальцами.

Масла не было. Был маргарин. «Вологодское масло, — подумал я, — сейчас едет в Москву».

Молоко продавали в бумажных пирамидках. У пирамидок было одно свойство: они всегда протекали с какого-нибудь одного угла, и никто заранее не знал, с какого. Я выбрал пирамидку, у которой все четыре угла были сухими. На это ушло полминуты, и женщина сзади успела дважды вздохнуть.

В витрине, поверх пирамиды из банок «Завтрака туриста», отражалась улица. В отражении у фонарного столба стояла маленькая фигурка в солдатской ушанке и смотрела внутрь, на меня.

Кассирша — белый халат поверх пальто, в гастрономе было не жарко — щёлкала костяшками счётов быстро и не глядя. Женщине передо мной она дала сдачу с трёх рублей. Та сгребла мелочь, не считая, и ушла. Кассирша ошиблась на пять копеек. В свою пользу.

Мне полагалась сорок одна копейка сдачи. Она дала тридцать восемь.

— Вы ошиблись на три копейки, — сказал я.

Кассирша подняла на меня глаза. Глаза были накрашенные, усталые и злые — не на меня, а вообще.

— Чего?

— Три копейки, — сказал я. — Батон, половинка чёрного, молоко, спички. С рубля — сорок одна.

— Ишь, — сказала кассирша. — Грамотный.

Но три копейки выложила на блюдечко. Не положила — шлёпнула.

— Спасибо, — сказал я.

— Правильно, сынок, — сказал старик у меня за спиной. — Они тут все обсчитывают.

— А ты, дед, не лезь, — сказала кассирша.

Три копейки — это билет на трамвай. Дело было не в трамвае. Своё я не отдаю — ни вещь, ни деньги, ни слово. Даже три копейки. Особенно три копейки: с них всё и начинается. Человек, который отдал три копейки, потому что неловко спорить, потом отдаст пятнадцать, потому что страшно, а потом шапку — потому что так положено.

Женщине с трёх рублей я ничего не сказал. Это были её пять копеек.

* * *

Обратно я пошёл другой дорогой, мимо гаражей. Выходило длиннее на сто сорок шагов. Мне нужно было посмотреть на гаражи вблизи.

Начинало смеркаться. В ноябре в Казани темнеет к четырём: солнце, которого весь день не было видно, уходило где-то за кирпичным заводом, и небо над заводской трубой из серого становилось грязно-жёлтым. Фонарь у гаражей ещё не зажгли.

Рыжая собака у будки сторожа облаяла меня — хрипло, взахлёб, как облаивают чужих. Сторож не выглянул.

Голоса я услышал раньше, чем увидел людей.

— ...С Чайки, говоришь? А на Кирпичке чё забыл? Чё забыл, спрашиваю?

Голос был ломкий, басовитый, с ленцой. Голос человека, которому некуда торопиться.

Они стояли в проходе между рядами гаражей, там, куда не доставал свет. Те самые трое. Крупный прижимал к железной двери гаража мальчишку лет тринадцати — в пальто, в кроличьей ушанке, почти такой же, как у меня. У ног мальчишки лежала авоська с пустыми бутылками. Зубастый — Вова Зуев, которого звали домой, — пританцовывал рядом. Третий отошёл к дальнему концу прохода и смотрел на тропу у котельной.

Я остановился у торца второго ряда, в тени, в двадцати трёх шагах от них. Спиной к стене, авоська в левой руке.

— Бутылки... сдать... — Мальчишка говорил так, словно ему не хватало воздуха. — Там пункт... на Заводской...

— Пункт, — повторил крупный. — Слышь, Зуб? Пункт у него.

— Мелочь есть? — Зуб полез мальчишке в карман, не дожидаясь ответа.

— Нету...

— А это чё, бля? — Зуб вытащил горсть монет и показал крупному. — Нету у него. Пиздит.

Крупный ударил мальчишку ладонью по щеке. Не кулаком — ладонью, звонко, наотмашь. Голова мотнулась и стукнулась о железо. Звук ушёл по проходу и вернулся от дальней стены.

Я считал.

Крупный — шестнадцать лет, может, семнадцать. Метр восемьдесят, килограммов восемьдесят, из них жира — пять. Телогрейка, ушанка, уши подвязаны на макушке. Широкое скуластое лицо, левая бровь рассечена старым шрамом, нос когда-то сломали, и он сросся с лёгким креном влево. Правша. Вес держит на правой ноге, левое колено бережёт — старая травма или свежий ушиб. Бьёт хорошо, от плеча, коротко. Если бы бил в полную силу, мальчишка уже лежал бы.

Зуб — пятнадцать, килограммов пятьдесят пять. Нервный, дёрганый. В драке побежит первым или ударит сзади. Скорее второе.

Третий, в конце прохода, — не боец. Смотрит на тропу, а не на нас. Шухер.

Сколько нужно, чтобы выключить обоих, считая подход: шесть секунд. Может, пять, если крупный не успеет развернуться. Он не успеет.

Свидетели: третий в конце прохода, двое пацанов у коробки, женщина с санками на тропинке у котельной. И ещё кто-то на крыше крайнего гаража: валенки, свесившиеся через край, и над ними — край солдатской ушанки. Тот, что смотрел на меня через витрину гастронома. Обогнал короткой дорогой.

Пятеро. В мой первый день в городе свидетелей не должно было быть ни одного.

— Шапку сымай, — сказал крупный.

Мальчишка вцепился в шапку обеими руками.

— Мамка убьёт...

— Мамка не убьёт, — почти ласково сказал крупный. — Мамка поплачет. А я — могу.

Он ударил кулаком в живот — коротко, без замаха. Мальчишка сложился пополам и сел в снег. Зуб сорвал с него шапку и нахлобучил себе на голову, поверх своей. Вышло смешно. Никто не засмеялся.

Восемь ударов. Пять ладонью, два кулаком в корпус, один коленом в бедро, когда мальчишка попытался встать. Ни одного кулаком в голову. Ни одного ногой.

Я провёл для себя черту. Если кто-то из них достанет нож или ударит лежачего ногой по голове — вмешаюсь. Не из жалости. Труп во дворе в первый же день — это милиция, обход квартир, вопросы соседям. И Галия-апа расскажет участковому, что новенький с шестого этажа стоял и смотрел.

Так я себе сказал. Я всегда себе так говорю.

Черту они не перешли. Они знали её лучше меня — она была у них в правилах.

Крупный бил не для того, чтобы сделать больно. Он бил, чтобы видели. Каждый удар был адресован не мальчишке, а Зубу, пацану на шухере, окнам девятиэтажки — и, может быть, тому, кто сидел на крыше. Чужая шапка была ему мала, она ему была не нужна. Он забрал её, потому что так положено.

— Пиздуй, — сказал крупный. — И чайковским своим передай: через Кирпичку — только по пропуску. Ещё раз увижу — ноги выдерну. Понял?

Мальчишка кивнул. Он плакал без звука — так плачут, когда стыдно плакать. Встал, сделал два шага, обернулся было за авоськой, но Зуб уже поднял её и взвесил на руке, как добычу: на кино хватит. Мальчишка побежал.

Он пробежал мимо меня в трёх шагах. Уши у него были красные, на щеке отпечатались пальцы. Меня он не увидел.

Женщина с санками прибавила шагу. В санках сидел ребёнок, закутанный до глаз; он, наоборот, обернулся и смотрел, пока мать не дёрнула санки. По дорожке от остановки шёл мужчина с портфелем. Он заглянул в проход — на мальчишку, на троих — и тоже прибавил шагу. Это была не трусость. Это был опыт. Он знал, что здесь бывает с теми, кто вмешивается.

— Э! — Крупный повернулся и посмотрел прямо на меня. Я не прятался, просто стоял в тени, а он заметил меня только сейчас. — Хули вылупился? Тоже хочешь?

Я молчал.

— Иди, куда шёл.

Я пошёл.

Не быстрее и не медленнее, чем шёл до этого. Женщина с санками прибавила шагу. Мужчина с портфелем прибавил шагу. Я — нет. Крупный этого не заметил.

Заметил другой.

Он спрыгнул с крыши крайнего гаража прямо передо мной — маленький, в телогрейке на три размера больше, с закатанными рукавами, в солдатской ушанке, на которой темнело невыцветшее пятно от звёздочки. Лет двенадцать. Под носом мокро, на губе прилипла шелуха. Глаза быстрые, жёлтые — как у кошки, которая живёт на помойке и прекрасно себя там чувствует.

— Слышь, вологодский, — сказал он. — Ты чё, ебанутый — так стоять? Бурый же и тебе мог навалять.

— Мог, — согласился я.

— И чё, не ссышь?

— Боюсь, — сказал я.

Он прищурился.

— Не пизди. Кто ссыт — тот бежит. Или в землю смотрит. А ты смотрел, как... — он поискал слово, — как мент. Как будто записываешь.

— Я смотрел, как человек, который несёт молоко, — сказал я. — Молоко может пролиться.

Он хрюкнул — это был смех — и пошёл рядом, подстраиваясь под мой шаг.

— Ты с шестого этажа, — сказал он. — Двадцать четвёртая, где Хабибуллины жили. Батя — инженер на ЭВМ, вас на заводском «рафике» привезли. Мамка — врачиха. Сеструха мелкая, белобрысая, как ты. С Вологды. Тебя в сто семнадцатую пишут, в девятый. А в девятом — Бурый. — Он сплюнул шелуху. — Повезло тебе.

Четыре часа. Мы прожили здесь четыре часа, а у этого шкета на нас уже было досье — подробнее, чем в отделе кадров.

— Откуда знаешь? — спросил я.

— Галия-апа, — гордо сказал он. — Галия-апа всё знает. А я знаю, чё знает Галия-апа.

Он был хорош. Не так хорош, как ему казалось, — но хорош.

— Ты чей будешь? — спросил он.

— Родительский.

Он остановился и посмотрел на меня с искренним восхищением.

— Не, ну ты в натуре ебанутый. Чей — это с кем ходишь. Кирпичка, Чайка, Депо. Мотаешься с кем?

— Нет.

— Значит, чушпан.

— Значит, ничей.

— Ничей тут я, — строго сказал он, словно я занял его место в очереди. — Меня не трогают, потому что я всем нужный. Я знаю, кто куда, кто с кем, у кого чё. А ты не ничей. Ты пока — никто. А никто — это хуже, чем чушпан. С чушпана хоть знают, сколько взять. А с никого сначала проверяют — сколько.

В этом была логика. Я её оценил.

— Драться умеешь? — спросил он.

Всё, что я скажу этому мальчишке, к вечеру будет знать двор, а к понедельнику — школа. Поэтому я сказал ему ровно то, что хотел донести до школы.

— Нет. Я в шахматы играю.

— В шахматы, — повторил он. — Бля-а... Ну, тогда тебе пиздец, шахматист. — Он сказал это без злорадства, как прогноз погоды. — Хочешь, расскажу, кто тут кто? Кого обходить, кому кланяться, куда не соваться. Двадцать копеек — и всё как есть. Дёшево.

— У меня нет двадцати копеек.

— Есть. Сорок одна. Я в окно видел, как ты Зойку на три копейки раскрутил. Зойку никто не раскручивал, а ты раскрутил.

— Это мамины.

— Ну, как хочешь. — Он пожал плечами, и телогрейка пожала плечами вместе с ним, с опозданием. — Придёшь ещё. Все приходят.

Мы дошли до коробки. Он не уходил.

— Корона на гараже — чья? — спросил я.

— О! — Он даже подпрыгнул. — Это вопрос на двадцать копеек.

Я пожал плечами и пошёл к подъезду.

Его хватило на четыре шага.

— Тяп-ляповская, — сказал он мне в спину. — С Теплоконтроля. Кирпичка раньше с ними... ну, не под ними, а так, рядом. Они нашим корону разрешили. Теперь их всех пересажали, суд будет. А корона осталась. Висит, как... — он опять поискал слово, — как портрет на стене, когда человек помер.

Я обернулся.

— А Депо?

— Депо — за путями. — Он махнул рукой в сторону моста. — Туда не ходи. Кирпичка — она так: побьёт и отпустит. А депошные не отпускают. — Он подумал и честно добавил: — Это я тебе бесплатно. Всё равно не поверишь.

— Как тебя зовут?

— Колька. Рябов. — Он вытер нос рукавом. — Сопля, если по-уличному. Но если ты меня Соплёй назовёшь — я тебе никогда ничего не продам.

— Хорошо, Колька.

Он ушёл, засунув руки в рукава, как старик. У коробки обернулся и крикнул:

— Шапка у тебя хорошая, шахматист! Снимут!

Его слабость обошлась ему в двадцать копеек: он не мог не показать, что знает. Это я тоже запомнил.

У подъезда я проверил пульс по часам. Шестьдесят четыре — на пять ударов больше обычного. Я списал это на холод.

* * *

Мама пересчитала сдачу на ладони.

— Сорок одна. До копейки.

— Масла нет, — доложил я. — Маргарин есть. Хлеб привозят в семь утра и в два — написано у кассы. Молоко — в восемь. Меньше всего народу в половине десятого. Кассирша обсчитывает, если не смотреть. В булочную на Заводской Галия-апа ходить не советует.

Отец засмеялся из комнаты:

— Оля, у нас в семье ревизор!

— Не ревизор, а хозяйственный мальчик, — сказала мама и поцеловала меня в макушку. Для этого ей пришлось подняться на цыпочки.

Про гаражи я не рассказал. Про мальчишку без шапки, про Кольку, про корону — тоже. Дома я был тем, кем меня считали. Это было не враньё. Это было единственное место, где я мог никого не просчитывать.

Ужинали на коробке из-под книг, застеленной «Правдой». Галия-апа одолжила сковородку, и отец пожарил картошку с луком — единственное, что он умел готовить и чем ужасно гордился. Табуреток не было, сидели на чемоданах. Настя заснула прямо за ужином, с куском хлеба в руке, и отец унёс её на раскладушку. Раскладушки завод выдал под расписку вместе с ордером.

За стеной у соседей работал телевизор. Было десятое ноября, День милиции, и по первой программе шёл праздничный концерт. Стена была тонкая, и слова доходили так отчётливо, будто пели у нас на кухне:

Наша служба и опасна, и трудна...

Я вспомнил старшину на перроне — как он ломал спички. Служба у него, наверное, тоже была трудная.

Если кто-то кое-где у нас порой...

Дальше я не слушал.

Ночью я лежал на раскладушке и слушал город.

В шахте за стеной гудел лифт — кто-то возвращался поздно. Наверху спустили воду. Пьяный голос во дворе выводил «Ой, мороз, мороз», сбивался и начинал сначала, и рыжая собака у гаражей лаяла на него хрипло, взахлёб, пока он не ушёл. Потом она облаяла кошку. Потом ветер. А за пустырём, за насыпью, не переставая лязгала сортировка: удар, скрежет, протяжный гудок, и женский голос из громкоговорителя, искажённый, как из-под воды: «...сорок седьмой — на девятый путь... на девятый...»

Казань не спала. Она лязгала.

В большой комнате шептались родители. Стенка была тоньше, чем им казалось.

— ...ты слышал, что этот водитель говорил? Андрюша, ты слышал?

— Оля, так везде. В Вологде за Заречьем тоже дрались.

— Не так.

— Ему здесь будет лучше. Новая школа, новые ребята. Забудет.

Пауза.

— Он не забывает, Андрюша. Он никогда ничего не забывает. Ты же знаешь.

Отец не ответил. Скрипнула раскладушка. Потом стало тихо — только сортировка за пустырём: удар, скрежет, «на девятый путь».

Я смотрел в потолок. Мама была права. Я никогда ничего не забываю.

Иногда я об этом жалею.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.